

«Ах, Сибирь, тоска и радость моя, земля одушевлённая и одухотворённая поколениями жителей, крестьянствующих на ней и смысл жизни имевших, чтобы землю эту передать потомкам в цвету и расцвете. Тысячи верст в разные стороны пролети над страной – велика она, обширна, не меряны ее просторы, щедро солнце на юге и лютый мороз в ледяных северных пустынях – все мило и любо, все есть родина, но Сибирь на отличку, особнячком. К ее богатствам проридались ученые мужи и отчаянные путешественники, во многих местах проткнули когтицу и пустили кровь земли на недолгую радость людям. К ней обращались государи и генсеки в дни черной беды, подступившей к стране, и собирались сибиряки, немногословные, суровые на вид и мягкие сердцем, крестьяне и работный народ, православные и язычники, строились в полки, от которых пятился всякий враг».

В этом лирическом и поэтическом признании, взятом из романа «Сухие росы», виден его автор, крепкий сибирский мужик, исходящий корнями из глубин ее истории, наследник и продолжатель духовной и мускульной мощи, имеющий негнущуюся нравственную основу и готовый к любым вызовам времен.

«Сибирские деревни всегда жили по своим законам. В далекие времена бежал сюда от скорой царской расправы уцелевший от виселицы казачок со товарищи, пробирался обобраный хозяином крепостной, селился злосчастный каторжанин, улизнувший от сонной охраны. Учиняли сговор на сходах, сами избирали старшего, сами же и гнали, если что не так. Организованные переселенцы из Расаи без особой радости были восприняты старожителями, но терпимо». Не буду сейчас называть автора этого лирического кусочка, о нем речь впереди.

В Сибирь влюбляются все, даже видевшие ее неясное выражение из окон мчащихся поездов. «Я бывал в Сибири» – это уже строка в биографии. А как славно, если человек здесь рожден и живет, да еще пишет об этом крае, романтическом и трагическом, песенном и молитвенном, о малой части огромного материка, в которой писатель находит людей с необузданным характером, ретивых, жадных до работы и жизни, строптивых, взрывных – обрез под полкой полушубка. А на следующей странице или в соседней повести этот буян уже

пестует дочку либо тетешкает долгожданного внука. Дивный и простой народ населяет Сибирь, пообтесались в обыденке воеватые дружинники Пугачева и Разина, убегом или по государевой воле обменявшие казацкую вольницу на хлебопашество и семейную крепость. Обросли сибирятиной, молились на горячую буханку, испеченную из квашни первого осеннего помола, расейские самоходы и птенцы столыпинского гнезда. Воевали друг с другом – так не каждому народу суждено. Воевали за колхозы и против, одинаково сиро продолжив бытие в уральской тайге на принудилровке или на бесхлебном колхозном поле. А потом вместе бивали пришедшего чужеземца, видя в скороморительных снах жен и детей, деревню и пашню. Война всех примирила, а родная земля со слезой встречала своего пахаря и сеятеля.

Сибирский характер столь смачно выписан в советской и русской литературе, даже символом стал, образом, сказал – и никаких добавок к разъямачиванию, без того зримо. Но дивным открытием вроде знамого мира стает всякая новая книга сибиряка, в откровениях своих поведавшего о сокровном и потому удивившего и порадовавшего.

Неожиданное издание вышло в Барнауле, пять книжек, объединенных единым венцом: «Сибирский роман Николая Олькова»*. Интересующийся читатель с этим именем знаком, больше все-таки по журнальным публикациям, потому что тиражи книг, самиздатовские, скромны до неприличия. А журналы благоволят автору, он часто появляется в популярнейших и требовательных «Подъеме», «Берегах», «Бийском Вестнике», принимают его «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «Приокские зори», белорусская «Немига», осетинский «Глашатай». Произведения в пятикнижии уже знакомые и новые, нечитанные, первопечатные. Свела их под одинаковые обложки Сибирь, ибо во всех пяти сочинениях не только место действия, не только населяющие их люди, но вся проза пропитана духом этого могутного и неистощимого края.

Автор собрал и разместил произведения так, что они по-своему ново и свежо открывают нам Сибирь: Столыпинскую переселенческую эпопею; крестьянский мятеж 1921 года; колхозные страдания и Великую войну; мучительное, но обнадеживающее выздоровление деревни после четырех лет безвозмездного донорства для ради фронта и победы, создавшее новую советскую деревню, счастливую и даже поющую; а потом вплоть до позорного реформирования и чудесного возникновения агрофирмы на месте загубленного колхоза на деньги земляка, в прошлом криминального авторитета.

В «Сибирском романе» нет сквозного героя, но есть извечная крестьянская идея свободного труда во благо семьи и общества, идею эту, хрустальную мечту человека земли, сами того не ведая, несут в душах своих и Антон Вазгустов («Переселенцы»), и Мирон Курбатов («Кулаки»), и даже вчерашний вор в законе Бывалый, совершенно искренне пришедший в родную деревню и предложивший мужикам свои деньги, чтобы подняться («Хлеб наш насущный»).

Есть еще одна истина, забыть о которой автор не дает читателю ни на минуту, и то вера в исключительность сибирского крестьянина. Действительно, сибиряки в пределах Империи жили как бы по своим законам, жили общинно, хоть и экономически самочинно, но коллективно в смысле соблюдения общего порядка, закона и справедливости. Община была и в деревнях Европейской части государства, но там не было такой воли, такой свободы труда, как в Сибири, где не знавали изначально чьего-либо верховенства, как помещичьего, монастырского и прочее. С этой доселе незнамой жизнью едва успел познакомиться саратовский ходок–разведчик на предмет переселения в село Мироновское Игнат Забелин («Переселенцы») и был сильно смущен: не могут так вольно жить мужики! Эта вольность и свобода труда поперек горла стала кремлевскому мечтателю, сумевшему завоевать Россию, но не имевшему ни малейшего представления, как этой громадой управлять. Потому вылупляется диктаторское решение: *«Мы решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нам количество хлеба, а мы его разверстаем по заводам и фабрикам, – выйдет у нас коммунистическое производство»*. **4 июня 1918 года, выступая во ВЦИК, Л. Троцкий провозгласил: *«Наша партия за гражданскую войну. Гражданская война уперлась в хлеб... Да здравствует гражданская война!»* Далее в своей речи Троцкий напутствовал продотрядников: *«Вы московские пролетарии... пойдите под знаменем Советской власти в деревни крестовым походом на кулаков»*.

Да, в Сибири действительно было чем поживиться. Каждый второй – кулак, по ленинскому определению, ибо сеет сотню десятин, держит пятнадцать коров и бессчетное поголовье молодняка. Овец не считали, во как! Конечно, мужики в дыбы встали поперек грабительской продразверстки, объединялись в отряды, далее в армию, возглавил которую избранный повстанцами молодой человек Григорий Атаманов. Человек из истории, найденный автором и послуживший созданию исторического произведения («Гриша Атаманов»). Не погибни он в том бессмысленном и беспощадном мятеже – быть бы ему вместе с Мироном Курбатовым в жестком противостоянии с советским начальником Щербаковым и вместе потом снаряжать обоз в небывалый исход десятка самых зажиточных семей из родного села в глубь тайги, подальше от власти и ее колхоза. Они и там создают коллективное хозяйство, живут трудно, но дружно, а когда узнают о нападении Гитлера, сотню неучтенных мужиков приводит Курбатов в военкомат, умоляя майора как-нибудь пристроить их в эшелон, совесть не позволяет отсиживаться в тайге.

Как знать, могли сойтись фронтовые дорожки группы Мирона Курбатова и героев романа «Сухие росы» минометчиков Григория Хмары, Тимофея Кузина, Бронислава Лячека, будущего писателя Ивана Ермакова. Отвоевав и прослужив дополнительно еще пятилетку, вернулся в родной район старшина Хмара. Стал учиться, избрали руководителем района, со середины шестидесятых перестраивали сельскую экономику,

меняли послевоенные скоростные постройки на бетон, осваивали новую технику, учились у академика Терентия Семеновича Мальцева. Похоже, в этом романе много от реальной жизни, потому и герои узнаваемы. Но неизменно преклонение перед Сибирью, ее непредсказуемой природой и великой радостью хлебороба, когда природа распаивает перед ним дружелюбные длани.

Можно ли объять сознанием и найти объяснение той изящной выдумке и высокой фантазии, с которой русский сибирский мужик находил либо изобретал слова для обозначения явлений, времен и событий? Да никогда не привыкнешь к неожиданному сочетанию слов, обозначающих сухую погожую осеннюю ночь, позволяющую вести обмолот хлебов до раннего утра, когда роса не выпадет даже перед солнцевосходом, и только физическое изнеможение заставит комбайнеров глушить моторы. Такие ночи выпадают нечаянно, и ценнее всего они ближе к концу жатвы, когда счет идет на часы и когда жизнерадостные синоптики на телевизоре с улыбкой обещают затяжные дожди. Вот тут радуются сухой росе, сухоросу, неожиданному ижданному, когда влажный воздух ветра поднимут высоко от земли, а зерно в колосе останется сухим и твердым на радость немногословному крестьянину.

Бывалый, а в миру Родион Бывакин, деревенский по происхождению, мальчишкой попадает в колонию, по совершеннолетию – на зону, где его ждет старый вор Доктор. Он уже знает, что этот паренек крепкий орешек, такой ему и нужен. Доктору надо увести из схрона на воле «портфель с баксами, ржой и брюликами», пока напарник тянет срок в Иркутске. Доктор делает молодого человека богатейшим, а тут приватизация, передел всего, что хоть что-то стоит. Доктора уже нет, Родион похоронил его на своем деревенском кладбище. Родя много думал о том времени, пытаясь отгородить себя от самых страшных дел, но все равно получалось страшно: сам не убивал, но другие, ниже его по понятиям, убивали. Со временем все меняется, Бывакин становится солидным промышленником, уважаемым человеком. И тогда вспоминает о деревне.

Все приходилось ломать. Мужиков, утративших представление о настоящей работе. Чиновников, на каждом шагу ждущих мзду. Своих друзей, не одобрявших его крестьянские увлечения. Но у Роди есть и другие друзья, помогающие и поддерживающие. В новый колхоз Бывакин вложил все свои накопления, хозяйство поднялось, стало агрофирмой, которой общее собрание решает присвоить имя «Бывакинская».

Во главе всего повествования – Хлеб. Подовым караваем в материнском доме. Тонкими ломтиками на ажурной тарелке в семье потомственной княжны Лады Станиславовны Бартеневой–Басаргиной, сопредседателя Имперского собрания – девушка всерьез мнит, что подбирает окружение будущего Государя. Куском, пропахшим мышами и махоркой, в карцере детской колонии, который надо обязательно сосать, чтоб витамины сразу попали в кровь. Засохшей лагерной пайкой, почётно возлежащей чуть в сторонке от яств на малине у бандитского

смотрящего. Первым снопом нового урожая, связанным всей бавыкинской семьёй и торжественно перевитым алой лентой. Кто знает, может, этот снопок когда-нибудь и вернётся в герб могучего государства. Пока же он может встать в конторе, рядом с колосистым собратом, чудом тут оставшимся ещё с красных времён.

Одним из бесспорных достоинств прозы Николая Олькова остаётся русский народный язык, украшенный словами и оборотами устного общения сибиряков, не утратившими смысла и разумения. Но это отдельная тема, которая ждёт своего исследователя и давно ждёт. У Олькова в каждом романе есть «народный герой», старый труженик, балагур и остро слов. Вот дед Тихон из «Хлеба...». Увидев огромный трактор «Джон Дир», домогается: *«А верно ли, сынок, говорят, что в этом тракторе не только что печка, но кой-что другое есть? К примеру, тавалет?»* При поиске места скважины для воды дед Тихон вмешался, указал место и добавил, что *«вода будет почти что святая, ее не коровушкам, а только беременным женщинам пить, а также которые кормящие»*. Уязвленный мужиками в грехе, дед выкручивается, что-то говорит о видении, потом сдаётся: *«Да для примеру сказал, какое видение, Сема, я и бабку-то только на ошупь»*.

В «Сухих росах» замечательный монолог деда Евграфа про то, как его хозяйка рыбные пироги печет: *«Какие рыбные пироги пекет моя Апросинья, это же не пироги, а настоящее произведенное человеком искусство, их бы не в животы бездонные складывать, торопясь, потому что, если чуть обробел, — умыкнут последний кусок. Их бы каким-то образом в свежине оставлять и выставлять в музеях или на ярмонках... Крупкой разваренной дно устелет да луковыми колечками выложит. Там не корка, а картина, в музей, на витрину, едри ее копалку!»*

Совсем иной, без чудинки, но наполненный житейской мудростью конюх Ероха в повести «Гриша Атаманов». Вот как готовит Ероха к бане прибывшего на часок с фронта хозяйского сына:

– *Венички я распарил, коли знал, что ты уже наготове, так что приступай, но не сразу. Я вот тебя поучу. Ты сперва кинь на каменку ковшичек и посиди в вольном жару, как пот хорошо прошибет, ну, потекут струйки промеж лопаток, тогда еще ковшичек. Только благословись, так и скажи: «Господи, благослови!» Ну, да ты знаешь. Теперича можно легонько попарить сначала ноги, потом повыше, тут самая нежность и аккурат, когда всё тело пройдешь, упеть ковшичек, тут уж в полную силу. Три раза должен выходить в предбанок и отдыхать, а то кровь возмутится. Тоже, слышал, случалось такое, что кровь разгонит по организму мужик, емя деваться некуда, туда-сюда — кругом заперто, а он жарит. Ну, кровь и находят слабину, кому в голову, кому в брюхо. Ты оберучь бери веники и обихаживай себя с обеих сторон, в сильный жар смотри только, чтобы шкура не лопнула. Сказывают, бывали такие случаи, когда особо усердные кутаки себе прижигали напрочь, вплоть до бабьего позору.*

А потом Григорий вспоминает рассказ Ерохи о несостоявшейся женьтибе, когда богатый отец невесты кобелей спустил на сватов, а дочку выдал в соседнее село, где она умерла при родах. *«И я с той поры умер»*, – смиренно заканчивает Ероха, а Григорий так и не на смелится спросить, помнит ли тот имя девушки.

В романе «Кулаки» другой конюх, Охрим, великий знаток лошадей. Прибывший в гости к товарищу за полста верст Мирон Курбатов боится, что загнал жеребца. *«Охрим скинул сбрую, правым ухом припал к груди лошади, долго слушал, поднял голову, улыбнулся:*

– Оклематся, ежели бы загнал, в грудях у него сильный был бы стук. В тепле протру, да болтанку сделаю, да настоев добавлю. Я, Мирон Демьяныч, с того света лошадей добывал, так что не горюй».

Время действия большинства произведений «Сибирского романа» песенным не назовешь, но в нескольких местах коллективная песня возникает как защита, спасение, потому что если не запоешь, то завоеешь от горя и безысходности. Песни народные, проголосные, почти забытые...

Николай Ольков, один из старейших писателей Сибири, внес в творимую многими поколениями литературную «Сибириаду» свою выстраданную лепту. Дело за читателем, доброжелательным и своенравным.

Юрий Наздеркин
Москва

*«Сибирский роман Николая Олькова».

В пяти книгах. Барнаул, «Новый формат». 2020 год.

**В. И. Ленин, ПСС. Т. 44, стр. 155.

